

Людмила Луцевич  
Литературный исповедальный канон  
и его модификации

---

Русская авторская исповедь возникла в конце XVIII в. и распространилась в XIX в.<sup>1</sup> Это тип исповеди, созданный профессиональными писателями, литераторами, публицистами (Денис Фонвизин, Николай Гоголь, Николай Огарев, Михаил Бакунин, Василий Кельсиев, Лев Толстой, Константин Леонтьев, Петр Лавров, др.). Я обращаюсь только к тем светским текстам, которые в названии содержат свое жанровое обозначение; само собой разумеется, что исповедальных текстов значительно больше, чем текстов, содержащих слово *исповедь* или *признание* в своем названии<sup>2</sup>. В результате изучения авторской

---

© TSQ № 44. Spring 2013. © Lyudmila Lutsevich, 2013.

<sup>1</sup> См.: Людмила Луцевич: 1) Авторская исповедь Гоголя: Текст и контекст. В: Двести лет Гоголя: Текст и контекст. Под ред. В. Шукина. Краков, 2011, с. 27—37; 2) Вопрос о смысле жизни в Исповеди Л. Н. Толстого. В: Славянские чтения. Даугавпилс, 2011, т. VIII, с. 65—77; 3) Homo confitens Дениса Фонвизина. В: Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. XV. Ред. Е. И. Анненкова, О. М. Буранок. Санкт-Петербург; Самара, 2011, с. 130—140; 4) Писательская исповедь: попытка типологии. W: Autobiografie pisarzy rosyjskich. „Studia Rossica XXI”. Red. naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz. Warszawa, 2012, s. 19—29. 5) Разновидности русской писательской исповеди. W: Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet. Warszawa 2012, s. 858—864. 6) Польский вопрос в Исповеди Василия Кельсиева. W: Polska — Rosja: dialog kultur. Tom poświęcony pamięci Profesor Jeleny Cybienko. „Studia Rossica XXII”. Red. naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz. Warszawa, 2012, s. 135—150.

<sup>2</sup> В последние десятилетия были опубликованы два замечательных исследования, где затронуты как общие проблемы исповеди — религиозной и литературной, так и частные, связанные с анализом конкретных текстов. См.: Михаил Уваров: Архитектоника исповедального слова. СПб.: Алетейя, 1998; Сильвия Зассе: Яд в ухо: исповедь и признание в русской литературе / Вступит. слово Д. Бака / Пер. с нем. Москва: РГГУ, 2012.

исповеди XIX в. обнаружилось, что она обладает рядом черт, которые в совокупности могут быть интерпретированы как некий литературный канон<sup>3</sup>, если под канонем понимать, как пишет Сергей Чупрынин: «своего рода семантический и эстетический инвариант, систему устойчивых норм и правил создания [...] произведений определенного жанра и стиля, обусловленных мировоззрением художника и литературной идеологией эпохи»<sup>4</sup>. При таком теоретическом подходе возможно как расширенное толкование понятия — типа русский канон<sup>5</sup>, канон русской классики, канон социалистического реализма, так и более узкое, касающееся отдельного литературного жанра, в частности автобиографической писательской исповеди (хотя, как известно, в традиционной жанровой системе такого жанра нет). Канон в любой версии сохраняет «память жанра», а в жанровом инварианте — определенную норму, которая модифицируется, так как любое творческое обращение к канону ведет к его неизбежной трансформации: или к преодолению и развитию, или к девальвации и разрушению. Канон складывается в определенных идеологических и эстетических условиях. В XIX в. практически каждый автор,

---

<sup>3</sup> См: Н. И. Пак: «Канон (от греч. — норма, правило) — 2. Система устойчивых норм и правил создания словесно-художественных произведений определенного стиля, обусловленного мировоззрением и идеологией эпохи. Художественный канон является не только образцом, но и критерием положительной оценки всех произведений, созданных по его правилам. Как эталон художественного творчества он не столько ставит ограничительные рамки, сколько указывает на внутреннюю, глубинную основу, из которой должен исходить и на которую должен ориентироваться художник. В узко профессиональном плане, в качестве „внешнего“ выражения, канон может рассматриваться как ограниченный набор определенных приемов создания произведений». Литературная энциклопедия терминов и понятий. Гл. ред и сост. А. Н. Николюкин. Москва: РАН «Интелвак», 2001, с. 336

<sup>4</sup> Сергей Чупрынин. Жизнь по понятиям. Русская литература сегодня. Москва: Время, 2007, с. 194.

<sup>5</sup> Канон по принципу священных книг задает список произведений, которые существуют в большом времени, становятся классическими. См.: Игорь Сухих: Русский канон: книги XX века. Москва: Время, 2013. В книгу включено тридцать очерков о наиболее значимых произведениях русского XX века.

обращавшийся к литературной исповеди, имел в той или иной степени опыт религиозного воспитания, включавший основы христианской морали, знания по богословию, догматике, священной истории (все это содержалось в обязательном катехизисе для школ, гимназий<sup>6</sup>, в курсе богопознания для студентов университетов), участие в богослужениях, в таинствах, где исповеди и покаянию отводилась важная роль<sup>7</sup>. Значит, религиозный аспект в исповеди так или иначе получал свое выражение (независимо от авторского отношения к нему — со знаком «плюс» или «минус»). Толчком для публичного покаяния чаще всего становилась кризисная ситуация, широко понятая болезнь, состояние между жизнью и смертью, в котором оказывался исповедывающийся. Это могла быть болезнь тела (т. е. болезнь физическая), как у Фонвизина и Константина Леонтьева. Либо болезнь самолюбия — неприятие современниками Гоголя его книги «Выбранные места из переписки с друзьями», а вслед за этим и реальный психофизический срыв (болезнь душевная). Либо болезнь духа (подавленного внезапным осознанием неизбежности смерти: в чем смысл жизни, если есть смерть?), что также вело к невыносимым духовным и физическим страданиям, как то случилось с Толстым. В ситуации между жизнью и смертью оказались находившиеся в аресте в ожидании кары (казни) государственные преступники — Михаил Бакунин и Василий Кельсиев. В исповедях XIX в. обязательно имелись конкретные адресаты, пред которыми каялись авторы: Бог, священник, семья (для Фонвизина), близкий друг (Герцен для Огарева), литературный антагонист (Белинский для Гоголя), сам повество-

---

<sup>6</sup> В 1819 году Министерство духовных дел и народного просвещения издало циркуляр о преподавании религиозных дисциплин в учебных заведениях различных типов: в приходских училищах — сокращенного катехизиса, Священной истории и чтений из Священного Писания; в уездных училищах — пространного катехизиса, изъяснений из Евангелий, чтений из Священного Писания; в гимназиях — чтений из Священного Писания. С 1819 года в Московском университете учреждается кафедра богопознания и христианского учения.

<sup>7</sup> См.: В. В. Зеньковский. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002.

ватель (Толстой для Толстого), идеологические единомышленники (социалисты для Лаврова), даже русский царь (для Бакунина — Николай I, для Кельсиева — Александр II).

При индивидуализированной обособленности каждого текста писательские исповеди XIX в. содержат и ряд устойчивых черт:

1. фиксация какой-то экстраординарной жизненной ситуации, обусловившей состояние одиночества и провоцирующей потребность исповедания;

2. раскаяние в конкретных поступках, покаяние в грехах молодости, где одним из самых существенных оказывалась недооценка религиозной веры или полная ее утрата;

3. углубленный анализ (этический, социальный, психологический...) отношений с Богом, с миром, с современниками, с самим собой; homo confitens стремится к раскрытию своего состояния, обусловленного средой;

4. отсюда обличение феодально-крепостнических и/или буржуазно-капиталистических отношений с их лицемерием и равнодушием к личности;

5. критическое отношение к литературе и собственному литературно-художественному творчеству;

6. морализаторство и дидактизм, соотносящиеся с пафосом проповедничества;

7. осознание учительного избранничества, особого предназначения во имя исполнения миссии по спасению себя, своего народа, человечества на пути истинного христианства (Фонвизин, Гоголь, Толстой, Леонтьев) или на пути нового социального учения (Бакунин, Кельсиев, Лавров); лейтмотивом становится метанойя, необходимость перемены ума, обретения новой веры и, как следствие, интенция (истинная или мнимая) на изменение образа жизни.

В XX в., особенно в советское атеистическое время исповедь оказалась не ко двору, во-первых, сам намек на религиозность изначально расценивался негативно; во-вторых исповедальная откровенность в принципе была опасна, поскольку в любой момент могла превратиться в самодонос со всеми вытекающими отсюда последствиями; в-третьих, авторская исповедь ни-

как не укладывалась в рамки соцреализма, поскольку не соответствовала ни постулированным критериям классовости, партийности, народности, ни советским архитипическим мифам и мифологемам о вождях и героях. В результате литературный канон авторской исповеди в том виде, в котором он сложился в культуре XIX в., не был востребован, хотя сама исповедальная традиция, конечно, не прекращалась. О сохранении «памяти жанра» свидетельствовали в советский период лишь единичные попытки Владимира Солоухина «Последняя ступень. Исповедь вашего современника» (нап. в 1976, изд. в 1995) и Виктора Астафьева «Из тихого света. Попытка исповеди» (писалась в 1961, 1975, 1984, издана в 1997).

Зато в постсоветскую эпоху, с конца 1980-х гг., в русской беллетристике появилось неисчислимое множество текстов, в названиях которых фигурирует слово «исповедь». Назову лишь некоторые: Аркадий Карасик «Исповедь телохранителя» (1995), Юрий Кузнецов «Исповедь авторитета» (1996), Иван Мотринец «Исповедь бывшего ээка» (1996), Александр Сенин, Александр Звягинцев «Приговоренный всеми. Исповедь наемного убийцы» (1996), Николай Стародымов «Исповедь самоубийцы» (1997), Александр Тавровский «Исповедь пофигиста» (2001), Юрий Медведь «Исповедь добровольного импотента» (2007), Арсений Нилов «Исповедь одинокого воина. Первая битва со злом (2007) Вячеслав Ландышев: Исповедь одинокого мужчины» (2009), Игорь Ложкин «Человек без имени. Исповедь обреченного эгоиста (2010), Алексей Шерстобитов: Ликвидатор. Исповедь легендарного киллера» (2013); Светлана Кронна «Исповедь одинокой стервы» (2004), Ксения Васильева «Западня, или Исповедь девственницы» (2009), Яна Рудковская «Исповедь „содержанки“, или Так закалялась сталь» (2009), Юлия Шилова «Исповедь грешницы, или Двое на краю бездны» (2010), Евгения Михайлова «Исповедь на краю» (2011), Ольга Мариничева «Исповедь нормальной сумасшедшей» (2011), Николай и Марина Переясловы «Спасемся любовью. Исповедь без оглядки» (2011). Ряды без труда можно умножить. Конечно, это литературная «пена», но она говорит о популярности жанра, основу которого составляют своего

рода откровения — любовные, сексуальные, тюремные, медицинские, общественные и проч.

С конца 80-х гг. в печати стали появляться и сочинения, которые нельзя отнести к беллетристическим однодневкам, это, например: «Исповедь Зоила» (1989) маститого литературоведа и критика Игоря Золотусского; «Исповедь отщепенца» (1990) крупнейшего социолога-философа и *выдающегося* (как его назвал Эжен Ионеско) писателя, а также диссидента, антисоветчика, антикоммуниста Александра Зиновьева, опубликованная на Западе; «Исповедь книгочех» (1991) известного медиевиста, философа и культуролога Вадима Рабиновича; «Признания скандалиста» (1999) «культового автора», публициста, критика и переводчика Виктора Топорова; «Исповедь сына нашего века» (2006) популярного писателя, драматурга, сценариста, телеведущего Эдварда Радзинского, прославившегося своими историческими бестселлерами о Николае II, Распутине, Александре II, Сталине. Конечно, названные мною лица, это не Гоголь и не Толстой, но в то же время достаточно видные в наши дни фигуры. Достойны упоминания также «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея» (1994) питерского прозаика Александра Мелихова, «Исповедь антигероя» (2003) профессора-экономиста и романиста Марка Подноса, «Моя исповедь» (2011) с мистическим уклоном поэта Вадима Черняева, «Игра в пинг-понг. Исповедь не-Героини» (2011) писательницы Людмилы Коль, живущей в Финляндии, «Исповедь старого дома» (2013) Ларисы Райт, некоторые другие. Эти тексты свидетельствуют о начавшихся почти через столетие процессах жанровой модификации русской писательской исповеди, даже, может быть, не столько преобразующих сложившийся канон и активизирующих или девальвирующих его вариативные возможности, сколько формирующий какой-то новый. Далее постараюсь отметить некоторые свойства, проявившиеся в современных писательских исповедях, свидетельствующие о памяти жанра, сохранившейся в неких отголосках, обломках былого.

В исповедях наших современников речь практически не идет о болезни духа повествователя, обусловленной утратой

веры, нет в них ни раскаяния, ни покаяния. Практически исповедующиеся авторы или их герои — это люди советского времени и советской системы, а значит, как правило, не воцерковленные, не религиозные.

«Наша семья всегда была выражено арелигиозной»<sup>8</sup>, я «скептик, безбожник и фаталист» (Топоров, с. 282) «унаследовал [...] удивительную беззаботность перед лицом вечности, психическое и физическое — вопреки опасностям и недугам — ощущение личного бессмертия [...] и равнодушие к тайнам Неба и Бездны» (Топоров, с. 25); польская студентка «Бася... бухнулась на колени... забормотала молитву. Мы, безбожницы, переглянулись и чуть не прыснули»<sup>9</sup>. Сами церкви и монастыри в советское время, отмечают авторы, утратили не только традиционные функции, но нормальный внешний вид: «уникальные северные церкви, построенные без единого гвоздя, стояли разграбленные» (Коль, с. 137), соборы стояли «безглавые», поскольку «кресты пали жертвой сбора металлолома»; монастыри «из центра мракобесия» превращались «в центры культурного отдыха» с «кельями „люкс“ для начальства»<sup>10</sup>.

Вместе с тем в исповедях встречается мотив тоски по истинной вере, любви, «смирению», «упованию» (Радзинский, с. 285); «Если бы она могла верить! Верить! Почувствовать себя во власти Божества! Проснуться утром и сотворить молитву, которая сама выйдет из души, из самой-самой глубины! И потом почувствовать радостное облегчение. Но это не для нее. Не может она! У нее даже крестик лежит, простой серебряный крестик, который дали ее матери. Носить тогда нельзя было - не дай Бог увидят!» (Коль, с. 292), в результате — «не сложились у нее отношения с религией» (Коль, с. 293).

---

<sup>8</sup> Виктор Топоров: Двойное дно. Признания скандалиста. Москва: Захаров; АСТ, 1999, с. 24. Далее указывается фамилия и номер страницы в тексте в скобках.

<sup>9</sup> Людмила Коль: Игра в пинг-понг. Исповедь Не-Героини, с. 127. Далее указывается фамилия и номер страницы в тексте в скобках.

<sup>10</sup> Эдвард Радзинский: Исповедь сына нашего века. Москва: Аргументы и факты; Экспрес-Сервис; Зебра-Е, 2006, с. 48. Далее указывается фамилия и номер страницы в тексте в скобках.

Однако при этих, как правило, «несложившихся отношениях с религией» в названиях произведений присутствует слово *исповедь*. Как это объяснить? Ведь чаще всего о религиозном аспекте нет и помина. При выборе названия, как кажется, не последнюю роль сыграла причина рекламно-коммерческая. Игорь Золотусский назвал свой сборник литературно-критических статей о прозе начала 80-х гг. (Константин Воробьев, Федор Абрамов, Валентин Распутин, Виталий Семин), о новых публикациях Ахматовой, Платонова, Булгакова, романах Гроссмана, Бека, Рыбакова, Можая, Приставкина, о Гоголе (уже увидевших свет ранее) «Исповедью Зоила» (1989), хотя ни покаяния, ни острой критики там нет; правда, есть открытие — своего рода откровение, новых произведений, тем, авторов. «Исповедь отщепенца» (1990) Александра Зиновьева появилась на свет как результат коммерческого предложения французского издательства написать книгу о том, как и почему русский диссидент стал писателем, создателем «Зияющих высот», почему оказался в эмиграции, как сложилась его жизнь на Западе и проч.<sup>11</sup> Виктор Топоров попросту указал, что его «Признания скандалиста» (1999) — это «литературный заказ» (Топоров, 452). Такие вот «откровения».

За словом *исповедь* у наших современников нередко кроется максимальная сосредоточенность на собственном эго: «никто мне никогда — кроме самого себя — не был по-настоящему интересен» (Топоров, 454); «О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? О себе» (Радзинский, с. 7).

Исповедующиеся, как правило, фиксируют в качестве доминантного состояние одиночества (обусловленное нередко завышенной самооценкой): «хорош я или плох, велик или мал, но сигулярен» (Топоров, с. 454), «клокотал в одиночестве» (Топоров, с. 198), «нахожусь во внутренней эмиграции» (Топоров, с. 199); «идет подлинная грязь и одиночество. Это идет российский писатель в несчастье...» (Радзинский, с. 19); «нет на земле ни единой женщины, ни единого мужчины,

---

<sup>11</sup> А. А. Зиновьев: Исповедь отщепенца. Москва: Астрель, 2008, с. 9.



с которыми мне хочется сейчас проститься» (Радзинский, с. 118), «последнее время полюбил одиночество» (Радзинский с. 120); «она страдает от одиночества, от невозможности высказать то, что накопилось в душе за ...годы» (Коль с. 291).

Что же накопилось в человеческих душах, что требует исповедания?

Все авторы по-прежнему сосредоточены на болезнях общества, но уже эпохи социализма или нового капитализма опять-таки с их лицемерием, равнодушием к людям, бессердечием, скукой и проч. И это, пожалуй, характерно для переходных эпох. Но личного раскаяния, покаяния в собственных грехах нет. Зато практически все авторы предпринимают попытки так или иначе рассказать о своем времени и о своем поколении: «Это была попытка удержать в памяти [...] то, что с нами произошло, рассказать о трудном, страшном, незабываемом времени, для многих обернувшимся настоящей трагедией, времени распада страны [...] желание передать мысли, чувства и переживания людей той, канувшей навсегда эпохи...» (Коль , с. 5); мы «военные дети, усталые, седые, старые дети. Какие стали у нас лица, будто сквозь аквариум рыбы на дне. Мы спим наяву и ждем „ничего“. [...] „задвинутое поколение“. Ящики внутри комода [...] все пищут, [...] снимают [...] выставляют, только этого уже никто не замечает. Все это внутри комода» (Радзинский, 124—125).

В сравнении с девятнадцативечным канонem у современных писателей нет глубоких рефлексий по поводу отношений с Богом, с миром, с собой, вместо этого -горько-ироническая констатация негативов. Авторы и их герои — это люди эпохи постмодернизма, которые знают, что все слова «о душе, о плоти, о смерти, о бессмертии, о власти, о свободе, о долге, о равенстве» давно сказаны; «все это уже было где-то написано. И много раз. Бравое трио Гильгамеш — Екклесиаст — Шопенгауэр... все эти моралисты, адвентисты, протестанты, католики, иезуиты, православные, сионисты, хасидисты... — все это повторяли тысячи и тысячи лет подряд. ...А двуногая тварь все слышит, все понимает, но... так же крадет, убивает, насилует, обманывает!» (Радзинский, с. 11). В результате,

современные исповеди нередко намеренно эпатажны, пронизаны вызывающе-пренебрежительным, презрительным отношением к жизни, любви, браку, семье, родным, друзьям, а также к культуре, литературе, искусству, общественной жизни и проч. Появляются совершенно нехарактерные для исповеди вообще и для русской девятнадцативечной исповеди в частности афористические игровые формулы типа: жизнь — «забавное устройство: мясорубка из дней» (Радзинский, с. 17); жена — «милая сотрудница по браку» (Радзинский, с. 10); «брак — обмен дурными настроениями днем и такими же запахами ночью» (Радзинский, 10); любовь — «визг из кучи тряпья и задранные вверх ноги» Радзинский (с. 11) и проч. А наряду с этим, есть и горькая растерянность, увязшая в наивной описательности фактов советского прошлого, перестроечного и постперестроечного настоящего.

Что стало с литературой и ее служителями? Каково отношение авторов к ним? Эта тема, как оказалось, на разных витках развития (в XIX и XX веке) получила близкое решение (хотя причины и интенции здесь абсолютно разные): литературное творчество обесценилось и потеряло смысл. Глубокое разочарование наших современников в литературе обуславливает и нарочитое саморазоблачение, и иронию в собственный адрес: «Как быстро я овладел кошмарным птичьим языком рецензий!» (Радзинский, с. 44); «Все мои статьи переполнены цитатами из Чехова, Достоевского, Рабле, Сфифта, Эразма Роттердамского. Никогда их не читал. Даже Достоевского. Так, пробежал все эти скучные его завывания. ...Но откуда тогда цитаты [...] в моих статьях? Из чьих-то других статей»; «Сколько я насочинял и присвоил!» (Радзинский, с. 119). Совершенно очевидно, что все больше пространство исповеди занимает разрушающий цинизм. Литература с ее морализаторством, учительными функциями, дидактизмом, мессианизмом и проч., асиологически девальвировалась и вновь утратила свое значение (как когда-то это произошло в сознании Гоголя, а затем Толстого).

Пожалуй, именно это «откровение» и вытекает из современных исповедей.

Связано ли это с тем, что исчезла (или кардинально изменилась) страна, где на протяжении длительного времени доминировал литературоцентризм, хотя и ограниченный (классово, религиозно, этически, эстетически и проч.)? Связано ли это с возвращением религиозных ценностей в стране когда-то победившего атеизма, где многие сакральные понятия<sup>12</sup> (в том числе и исповедь) утратили свое прямое значение, а сейчас идет трудный — зачастую в кошунственной форме воплощаемый — процесс их восстановления? Для меня это пока вопросы, нуждающиеся в дальнейшем изучении.

Что касается собственно понятия *канон*, то конкретные наблюдения показали:

1) канон исторически ограничен, но может выражать в определенной степени этико-эстетическую сущность культуры, эпохи, нации; 2) изменение культурно-исторической эпохи ведет к изменению характера художественного мышления и, следовательно, этико-эстетического идеала, а значит, канона (и то, что вчера было идеалом, сегодня может быть извращено и осмеяно); 3) но при этом «каноническая схема» (даже не востребованная в течение длительного времени) существует и в определенные моменты актуализируется сознанием; 4) новые вариации более или менее традиционного инварианта обуславливают «стремление проникнуть в его сущностные, архетипические основания» ради «открытия каких-то еще неизвестных его... истин»<sup>13</sup>, что и заставляет нас внимательнее всматриваться как в сложившийся жанровый канон, так и в его современные модификации.

---

<sup>12</sup> Показательный факт: Дина Рубина — составительница тотального диктанта для России в 2013 г., первую его часть назвала «Евангелие от интернета».

<sup>13</sup> В. В. Бычков. Эстетика. Москва: Гардарики 2004, с. 281.